

Содержание

Часть первая	5
Часть вторая	221
Часть третья	367
Часть четвертая	520

Чтобы стать истинным романистом,
надо исследовать жизнь всего обще-
ства, ибо роман — это частная исто-
рия народов.

Оноре де Бальзак

Часть первая*

I

Из дверей редакции Сантьяго глядит на проспект Такны, и во взгляде его нет любви: тонущие в тумане серенького дня машины, разнокалиберные блеклые фасады, каркасы неоновых реклам. Когда же это так испаскудилась его страна, его Перу? На проспекте Вильсона меж замерших перед светофором машин с криками мечутся мальчишки-газетчики, а он медленно шагает к Кольмене. Понурившись, сунув руки в карманы, идет он словно под конвоем прохожих — все в одну сторону, к площади Сан-Мартин. Он сам, Савалита, — вроде Перу, с ним тоже в какой-то момент случилась непоправимая пакость. В какой же это момент? — думает он. У дверей отеля «Крийон» к ногам его жметесь, лижет ему башмаки бездомная собака. Пошла вон, может, и ты бешеная? И с Перу, думает он, и с Карлитосом, и со всеми. Выхода нет, думает он. На автобусной остановке — длинный хвост, он пересекает площадь и видит за столиком бара «Села» — здорово, старина! — Норвина — присаживайся, старина, — плотно облапившего высокий стакан, подставившего ногу чистильщику ботинок — выпей со мной. Норвин вроде бы еще не пьян, и Сантьяго садится, показывает чистильщику, чтоб занялся и его башмаками.

* Читателю следует иметь в виду, что в первой части романа диалоги из разных сюжетных линий время от времени переплетаются друг с другом, однако внутренняя логика каждой сюжетной линии сохраняется. — *Примеч. ред.*

6 Сейчас, сеньор, сделаем в лучшем виде, сеньор, в лучшем виде, как зеркало будут.

— Сто лет не виделись, — говорит Норвин. — Ну что, передовицы-то легче писать? Доволен? Не жалеешь, что бросил хронику?

— Возни меньше, — пожимает он плечами — а не в тот ли день и час случилось это, когда его вызвал главный редактор — и заказывает пива похолодней — и предложил ему место Оргамбиде, ведь он учился в университете и справится с редакционными статьями. А, Савалита? Не тогда ли, Савалита? Тогда, тогда, думает он. — Прихожу пораньше, получаю тему, зажимаю нос, и часа через два три все уже готово и меня спускают с поводка.

— Ни за что на свете не согласился бы передовые мастерить, — говорит Норвин. — Информации нет, а в нашем деле информация — это все, понимаешь, Савалита? Так и схохну, наверно, на уголовной хронике. Да, кстати: правда, что Карлитос умер?

— Да нет, он пока еще в клинике, скоро выпишут, — говорит Сантьяго. — Клянется, что на этот раз завяжет намертво.

— А правда, что он уже чертей ловил? — говорит Норвин.

— Правда, — говорит Сантьяго. — Стал спать ложиться, откинул простыню, тут на него и посыпались крысы, пауки, тарантулы. Он завопил, конечно, выскочил на улицу в чем мать родила.

Норвин смеется, а Сантьяго закрывает глаза: корпуса квартала Чоррильос — бетонные кубы с зарешеченными окнами, растрескавшиеся норы, в которых копошится замшелое отребье, заживо гниющее старичье в шлепанцах на узловатых венозных ногах. А между корпусами мечется человек, и от истошных его воплей содрогается маслянистая рассветная полумгла, и еще яростней гонятся за ним скорпионы, тарантулы, муравьи. Что ж, — думает он, — тоже утешение, белая горячка лучше медленной смерти. Ничего, Карлитос, каждый отбивается от Перу чем и как может.

— В один прекрасный день и я допьюсь до зеленых чертей. — Норвин с любопытством рассматривает свой стакан, усмехается. — Однако непьющих репортеров не бывает, Савалита. Надо же в чем-то черпать вдохновение. — Чистильщик покончил с ним и теперь, посвистывая, наводит глянец на башмаки Сантьяго. — Ну, как дела в «Ультима Ора», что слышно у этих бандитов? Обижаются на тебя, Савалита, зазнался, говорят, никогда теперь не зайдешь, не то что раньше. У тебя же, Савалита, времени теперь вагон. Чем же ты занят? Или еще где-нибудь подрабатываешь?

— Книжки читаю, сплю после обеда, — говорит Сантьяго. — Может, все-таки восстановлюсь на юридическом, получу диплом.

— Ну, брат! — Норвин явно огорчен. — Хронику бросил, теперь еще и диплом хочешь получить? Передовицы — это край. С дипломом можешь ставить крест на журналистике. Буржуем становишься, как я вижу.

— Мне только что исполнилось тридцать, — говорит Сантьяго. — Поздно буржуем становиться.

— Всего тридцать? — задумывается Норвин. — Мне тридцать шесть, а по виду я тебе в отцы гожусь. Ничто так не измочаливает человека, как уголовная хроника.

Над столиками — мутноглазые мужские лица, протянутые к пепельницам и стаканам руки. Ну и сброд, прав был Карлитос. Что со мной сегодня? — думает он. Чистильщик взмахами щеток отгоняет двух собак: вывалив языки, они бродят между столами.

— Долго еще «Хроника» будет с бешенством бороться? — говорит Норвин. — Осточертело. Сегодня опять — целая полоса.

— Моя работа, — говорит Сантьяго. — Да ну, лучше уж про бешенство, чем про Кубу с Вьетнамом. Ладно. Очереди нет, пойду на автобус.

— Пошли пообедаем, я угощаю, — говорит Норвин. — Забудь ты жену хоть ненадолго, Савалита. Тряхнем стариной, вспомним золотые времена. — Огненное

8 жаркое, ледяное пиво, «Уголок Кахамарки» на Бахоэль-Пуэнте, ленивая вода Римака, текущего мимо сопливых скал, кафе «Гаити», вечеринка у Мильтона, коктейль и душ у Норвина, и полуночный апофеоз — поход в бордель, где, спасибо Бесеррите, им отпустят со скидкой, а потом — тяжелый сон, а наутро — головная боль, чувство вины, похмельная тоска. Не тогда ли, не в золотые ли времена? Очень может быть.

— Ана приготовила сегодня на обед чупе* с креветками, этим я пожертвовать не могу, — говорит Сантьяго. — В другой раз, старина.

— Ага, боишься, боишься жену, — говорит Норвин. — У-у, Савалита, до чего ж ты испаскудился.

Вот это верно, да только дело тут не в жене. Норвин расплачивается с официантом и чистильщиком, жмет Сантьяго руку. Он возвращается на остановку, лезет в автобус «Шевроле», где гремит радио. «Инка-Кола» утолит жажду, а потом вальс, реки и ручьи, сработавшийся голос Хесуса Васкеса. В центре — еще пробки, но на проспектах Республики и Арекипи машин мало, автобус может набрать скорость, и снова вальс, у жительниц нашей столицы... Почему у нас что ни вальс, то такая мерзость? Он думает: что со мной сегодня? Он повесил голову, подбородок уперт в грудь, глаза полужакрыты, словно он созерцает свой живот. Черт бы тебя взял, Савалита, стоит только сесть, как под пиджаком — словно арбуз. Когда он в первый раз выпил пива? Пятнадцать лет назад? Двадцать? Уже месяц не виделся с мамой, с Тете. Кто бы мог подумать, что Попейе станет преуспевающим архитектором, а ты, Савалита, будешь сочинять передовицы о вспышке бешенства. Он думает: скоро придется на тачке брюхо возить. Надо ходить в турецкие бани, надо играть в теннис, согнать вес, растрясти жирок, будешь стройным, как пятнадцатилетний. Встряхнуться, побе-

* Чупе — блюдо из сыра, картофеля и яиц. — *Здесь и далее примеч. пер.*

дить лень, воспарить. Он думает: спорт — единственный выход. Миновали парк Мирафлорес, Кебраду, Малекон, вот здесь, на углу Бенавидеса, пожалуйста. Он вылезает и, сунув руки в карманы, понуро бредет к Порте, да что со мной сегодня такое? Небо по-прежнему затянуто тучами, день все так же пасмурен и сер, комариной лапкой, паутинной лаской пробегает по коже мельчайшая изморось. Нет, что-то еще более беглое, мимолетное, неприятное. В этой стране даже дождь сволочной какой-то, нет чтоб хлынуло как из ведра. Что сегодня в «Калине», в «Монтекарло», в «Марсано»? Он пообедает, потом прочтет через пень-колоду главу «Контрапункта», мозги его отуманятся, и он с книгой Хаксли в руках погрузится в вязкий послеобеденный сон, — это если крутят детектив вроде «Рифифи» или вестерн вроде «Рио-Гранде». Но Ана наверняка уже высмотрела в газетке какую-нибудь мелодраму, да что со мной сегодня целый день? Он думает: если бы цензура запретила мексиканские картины, мы бы с Анной реже ссорились. Ну, выпью вермута, а потом? Потом погуляют по Малекону, покурят под бетонными зонтиками парка Некочеа, слыша, как ревет в темноте море, вернутся, взявшись за руки, домой, что-то часто мы стали спорить, милая, часто ссоримся, милая, а потом, одолевая зевоту, — еще страничку Хаксли. Обе комнаты — в чаду и вони горелого масла, хочешь кушать, милый? А утром — трель будильника, холодный душ, автобус, потом в толпе конторских служащих пешком до Кольмены, голос главного: «Что предпочитаешь, Савалита: забастовку банковских служащих, кризис рыбодобычи или Израиль?» Может быть, стоит поднапрячься немножко и все-таки получить диплом. Дать задний ход, думает он. Он видит обшарпанные оранжевые стены, красные крыши, слуховые окна, забранные черными прутьями. Дверь в квартиру открыта, но почему-то навстречу не вылетает простодушная, игривая и забавная собачка Батуке. Что ж ты, милая, пошла к китайцу в лавку, а двери настезь? Нет,

10 он ошибся, Ана дома, встрепанная, глаза красные, заплаканные. Что стряслось? — Батуке увели.

— Вырвали поводок прямо из рук, — рыдает Ана. — Какие-то гадкие негры. Вырвали и бросили в фургон. Его украли, украли!

Он целует ее в висок — успокойся, успокойся, — гладит по щеке — как это случилось? да не плачь, глупенькая, — взяв за плечо, ведет в комнату.

— Я звонила в «Кронику», но тебя уже не было. — Губы у Аны дрожат, лицо искажено. — Какие-то негры с каторжными мордами. Он был на поводке, как полагаются. Поводок у меня вырвали, а Батуке схватили и бросили в фургон.

— Подожди, вот пообедаю и схожу за ним, — снова целует ее Сантьяго. — Я знаю, куда везут отловленных собак. Ничего с Батуке не случится, не плачь.

— Он так сучил лапами, вилял хвостом, — Ана краешком передника вытирает глаза, вздыхает, — словно все понимал, бедненький. Бедная моя собачка.

— Говоришь, прямо из рук вырвали? Вот сволочи. Ладно, я им устрою. — Он снимает со стула пиджак, делает шаг к двери, но Ана удерживает его: сначала поешь, перекуси на скорую руку. Голос ее нежен, на щеках ямочки, глаза грустные, бледная.

— Наверно, остыло, — улыбается она дрожащими губами. — Я тут обо всем забыла, прости, милый. Бедненький Батукито.

Обед проходит в молчании, стол придвинут к окну, а окно выходит в патио: земля кирпичного цвета, как теннисные корты в Террасасе, извивается посыпанная гравием дорожка, вокруг кусты герани. Чупе и вправду холодное, по краю тарелки — каемка застывшего жира, креветки точно жестяные. Она пошла к китайцу в Сан-Мартин уксусу купить, и вдруг рядом затормозил грузовик, оттуда выскочили двое негров, рожи совершенно бандитские, ну просто беглые каторжники, один оттолкнул ее в сторону, второй вырвал из руки поводок, а когда

она пришла в себя, их уже и след простыл. Бед- 11
ный, бедный песик.

Савалита встает: эти негодяи за все ответят. Ана снова плачет: «Даже он понял, что его хотят убить».

— Ничего с ним не будет. — Он целует Ану в щеку, ощутив на мгновение воспаленную от слез солоноватую кожу. — Скоро приведу, вот увидишь.

Рысцей к аптеке на углу Порты и Сан-Мартин, просит разрешения позвонить и набирает номер «Кроники». Трубку снял Солорсано, судебный репортер: ты совсем сбрендил, Савалита, откуда я знаю, где живодерня?!

— У вас собачку увели? — Аптекарь с готовностью вытягивает шею. — Это не очень далеко, на Пуэнте-дель-Эхерсито. Вот у моего крестника так погибла чау-чау, такая славная псына.

Рысцей к Ларко, в автобус, прикидывая, сколько стоит такси от проспекта Колумба до Пуэнте-дель-Эхерсито. В бумажнике сто восемьдесят солей. К воскресенью опять будем на мели, зря все-таки Ана ушла из клиники, кончать надо с этими кино каждый вечер, бедный Батуке, больше ни единого слова про бешенство не напишу. Вылезает, на площади Болоньези ловит такси, но шофер не знает, где живодерня. Мороженщик с площади Дос-де-Майо указывает им путь: все время прямо, на набережной увидите вывеску «Муниципальный отдел по отлову бродячих животных», это она и есть. Здоровенный пустырь за кирпичным забором мерзкого вида и цвета дерьма — цвета Лимы, думает Сантьяго, цвета Перу — а на пустыре — несколько хибарок, которые в отдалении сливаются воедино, превращаясь в лабиринт циновок, кровель, цинка. Тихий сдавленный скулеж. У ворот — жилое строенье с табличкой «Администрация». Лысый человек в очках, без пиджака, дремлет за письменным столом, заваленным бумагами, и Сантьяго с ходу стучит по этому столу кулаком: у меня украли собаку, у жены прямо из рук поводок вырвали — лысый вздрагивает от неожиданности — это безобразия, эту подлость я терпеть не намерен!..